18+
МЕРТВАЯ ЗЫБКА
НАТАЛЬЯ КУРТАКОВА
СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ
18+

Наталья Куртакова

Мертвая зыбка

«Автор»
2026

Куртакова Н.

Мертвая зыбка / Н. Куртакова — «Автор», 2026

Ей говорили: терпи. Не бьет муж - уже счастье.. Не родила? Родишь. Родила мертвого? Сама виновата.Ладана сбежала не от смерти, она сбежала от жизни, в которой ее не было. Босиком, без имени, без надежды. Дорога привела ее в скит, о котором шепчут: там живут женщины, которых мир выплюнул. Там земля теплая даже зимой. Там не спрашивают, кто ты. Там можно стать никем.Но у «никем» есть цена. По ночам из-под пола поднимается свет. Теплый. Ласковый. Он знает твое имя. Он приходит к тем, кто еще не умер, но уже перестал жить. И женщины одна за другой начинают улыбаться во сне. Иссыхать. Исчезать.Ладана думала, что пуста. Но пустота - это дверь, в которую уже стучат.

© Куртакова Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Конец ознакомительного фрагмента. 11

Наталья Куртакова
Мертвая зыбка

Пролог

ЧЕРНАЯ БАНЯ.

Говорят, скита здесь раньше не было.

Говорят, но кто сейчас помнит? В деревнях, что стоят по берегам реки, старухи еще шепчутся. Рассказывают о том, что было. Но старухи умирают, а молодые не слушают. Молодые заняты своими заботами: свои роды, свои мертвецы, свои бани, которые топятся по-черному и пахнут не страхом, а всего лишь дымом. Им некогда смотреть назад. Некогда вглядываться в воду. Некогда думать о том, почему река в излучине стоит, а не течет. Почему птицы над тем берегом не поют.

Когда-то давно здесь не было ничего. Только остров. Только лес. Только земля. Земля была холодной. Самой обычной. В зимнюю стужу она промерзала так, что корни трескались, а снег лежал до поздней весны, тяжелый, мокрый и серый от пепла печных труб. Когда же остров оттаивал, и сквозь прошлогоднюю листву пробивалась трава, обычная, зеленая, живая. Птицы вили гнезда. Лисы выводили потомство. Ветер пах рекой и хвоей.

Ни одна душа не жила здесь. Остров был ничей. Иногда рыбаки причаливали к берегу, чтобы пережить непогоду, но старались на ночь не оставаться. Говорили: место глухое, неудобное, вода вокруг темная, дно илистое, рыбы мало. Может врали. Может что-то чувствовали – не умом, а телом, кожей, тем местом в животе, которое сжимается перед грозой. Необъяснимое. Беспричинное. Как будто кто-то смотрит из-под воды. Как будто земля под ногами не просто земля, а что-то еще. Что-то, что ждет.

А потом построили баню.

Зачем построили? Кто построил? Никто уже не помнит. Может, община из ближайших деревень сложилась и решила: будет общая баня на острове, ничейная, всем миром топить. Может, какой-то богатый род поставил. Для себя, для своих женщин, чтобы рожали в тишине, подальше от чужих глаз. А может, и не люди вовсе. Может, сама земля позвала. Может, она уже тогда была голодна.

Топили баню по-черному. Дым не уходил в трубу. Трубы не было. Дым стелился под потолком, оседал на стенах, слоился, копился, превращая дерево в уголь. Стены стали черными, скользкими, блестящими от сажи. В самом углу бани лежали камни – большие, темные, тяжелые. Их нагревали до белизны, плескали на них воду, и пар поднимался такой густой, что женщина, сидящая на полке, не видела собственных рук. Она видела только пар. Она слышала только свое дыхание. Она чувствовала только жар.

В этой бане рожали. В ней же обмывали мертвых. Здесь наказывали провинившихся – запирали внутри и топили так жарко, что тело сваривалось заживо. Все смешалось в этой бане: кровь и воды, пепел и пот, первый крик младенца и последний выдох. Все впиталось в стены. Все ушло в землю. Земля запомнила. Земля копила.

А потом пришла Черёма.

И все кончилось.

И все началось.

Была она не первой женой и не последней. Третья дочь в роду, выданная не по любви, а по расчету. В ту пору почти всех выдавали по расчету. Никто не спрашивал, хочет ли девка

за этого мужика или нет. Стерпится – слюбится. Так говорила мать. Так говорила бабка. Так говорили все.

Черёмуха по-старому, дерево, которое цветет по весне белым, а ягоду дает черную, горькую, вяжущую. Хорошее имя. Крепкое. Только мать, когда никто не слышал, называла ее иначе – Черёмушка, ягодка моя горька. Но незадолго до свадьбы ее мать умерла. Черёма осталась одна.

Муж ее был не злой и не добрый – никакой. Ел, спал, работал, брал ее по ночам молча, как берут вещь. Не бил, и за то спасибо. Ласки не знала она с ним. А кто ласкает? Ласка не для таких, как Черёма. Ласкают дочерей богатых родов, у кого приданое, а отец старейшина или жрец. У Черёмы не было приданого, лишь две рубахи, материн платок, да гость серебра. И сама она была как рубаха: добротная, ношенная, без узоров.

Первое бремя свое выкинула. На четвертом месяце замужества почуяла, что понесла, и на четвертом же скинула, прямо в поле, среди снопов. Повитуха сказала: бывает. Молодая слишком, тело не готова, понесет в другой раз.

Второе бремя тоже выкинула. Уже в избе, уже в постели, уже с такой коровью, что думали, что не выживет. Выжила. Ее муж смотрел на ее молча. Только взгляд его поменялся, стал не злым, не добрым, а оценивающим. Как на скотину, которая не дает приплода. Даром кормить? Зачем?

Третье свое бремя Черёма доносила до срока. Рожала тяжело. Двое суток. С криком, с пеной на губах. С глазами, вылезающими из орбит. Повитухи менялись. Одна уходила, другая приходила, у всех были руки по локоть в крови. Под конец старшая повитуха, самая опытная, та, что приняла на своем веку детей больше, чем жило во всей деревне, сказала: «*Мальчик*».

Мальчик родился мертвым.

Нет. Не так.

Мальчик родился *неправильным*.

Две головы. Вернее, одна, но раздвоенная, как будто два лица пытались вырасти из одного черепа и не смогли, срослись скулами, перепутались губами, и теперь это было не лицо, а комок плоти с двумя ртами и тремя глазами. Один глаз был закрыт. Два других смотрели в разные стороны. Пальцы сросшиеся - на одной руке шесть, на другой четыре, как ветки, которые переплелись, пока росли. Кожа прозрачная, и сквозь нее виднелись органы: темное сердце, темные легкие, темные кишки, все одного цвета, все мертвое.

Кроме сердца.

Сердце билось.

Повитуха закричала. Но закричала она не от того, что испугалась, а от того, что узнала. Она уже видела такое. Когда-то давно, в другой деревне, у другой женщины, от другого мужика. И тогда, сказала она, это был знак.

- Эту землю прокляли, - выдохнула она. Голос ее изменился. Стал тяжелым, чужим, словно баба стала говорить чужой волей. – Не ребенок это. Морок. Надо сжечь.

Черёма не отдала.

Лежа в крови, в соломе, в собственном поту, она держала младенца, у которого еще билось сердце, и не отдавала никому. Сил кричать у нее не было, но она кричала – хрипло, страшно, по-звериному: *«Мой! Мой!»* - прижимая его к груди. Молоко уже пришло. Оно текло по соскам, по сросшимся ртам, по маленькому тельцу, но не попадает внутрь. Младенец не мог пить.

Повитуха стояла, прижавшись к стене. Она смотрела на Черёму, на ребенка, на молоко, которое текло в никуда, и шептала что-то. Не молитву, не заговор, а просто слова, старые, забытые, те, что говорили еще до богов, до людей, до всего.

Муж стоял в дверях.

Он вошел на крик, но не решился переступить порога – замер, держась за косяк и просто смотрел. На жену. На то, что она держала в руках. Он ничего не сказал. Черёма не видела его. Она смотрела на сына. Она прижимала его к груди, и слезы текли по ее щекам, капали на его лицо, на закрытые глаза, на его грудь, которая все еще вздымалась. Она целовала его в лоб. Гладила его пальчики, тонкие как веточки. Она шептала ему что-то, чего не слышали ни повитухи, ни отец. Она поворачивала его лицо к себе, потом к свету, потом снова пыталась дать ему грудь. Она не могла остановиться. Она не могла оторваться от него – даже когда повитухи попытались забрать его, она не отдавала. Она прижимала его к себе и качала, как будто он спал. Как будто он просто устал после рождения.

- Не надо, - шептала она. – Не надо, маленький. Я здесь. Я с тобой. Я не отдам тебя.

Повитухи суетились рядом, но ни одна не решилась отнять у нее дитя. Они только переглядывались, качали головами, шептались, но не подходили. Та, что была старше, взяла тряпицу, поднесла к лицу Черёмы, вытирая слезы, ничего не говоря. Черёма не замечала их.

Она лишь чувствовала взгляд мужа. Она знала, что он смотрит на ее. Она чувствовала его молчание. Она знала, что он ждет, но она не знала чего. Может того, что она отдаст дитя. Может того, что она перестанет плакать. Может того, что она скажет что-то, чего он хочет услышать.

Она не знала. Только прижимала сына к груди и чувствовала, как бьется его сердце, ровно и спокойно, будто назло. Муж все стоял на пороге. Смотрел. Солнце перекатилось за полдень и ушло к закату. Тени в избе удлинились, потом сгустились, а он все стоял. Не сказав ни слова.

Тогда, обессиленная Черёма, наконец подняла глаза, встретившись с его взглядом. В его глазах была пустота, которая испугала ее больше, потому что в ней не было места для нее. И тогда она поняла: он уже потерял ее. Не сегодня. Не вчера. А когда-то давно, задолго до того, как она родила. Он развернулся и вышел. И вернулся лишь к глубокой ночи.

А на рассвете пришли старейшины. Трое. Седые, в длинных рубахах, с посохами. Они не заходили в избу — стояли у порога, и старший из них, тот, что помнил еще прадедов и прадедов прадедов, сказал:

— Обоих. Мать и дитя. В баню. Топить, пока не очистятся.

Черема услышала. Она перестала кричать. Она подняла голову — медленно, как будто шея не держала, — и посмотрела на старейшин. Не на мужа, который так и не вернулся. Не на повитуху, которая все еще шептала в углу. На старейшин.

И улыбнулась.

Никто не понял этой улыбки. Никто не успел спросить. Но много позже, когда эта история стала легендой, а легенда — туманом, говорили, что именно в этот миг земля под избой впервые стала теплой.

Ее не вели — несли. Кто-то взял под руки, кто-то поднял за ноги, и Черема поплыла над землей, как сноп, как куль, как мешок с чем-то ненужным. Она не сопротивлялась. Она держала ребенка — все еще теплого, все еще с бьющимся сердцем, — прижимала к животу, к груди, к тому месту, где только что была жизнь, а теперь была пустота. Молоко текло по ее рукам, по его прозрачной коже, капало на траву. Трава была мокрая от росы. Рассвет только начинался.

За спиной шли люди. Много людей — вся деревня, кажется, поднялась затемно. Кто-то из женщин плакал, но тихо, в кулак, чтобы не услышали старейшины. Кто-то молчал. Дети бежали следом, но их отгоняли — нечего, не для детских глаз. Муж шел позади всех. Он не смотрел на Черему. Он смотрел под ноги, на землю, на траву, на муравьев, которые уже проснулись и ползли по своим делам, ничего не зная. Его мать, свекровь Черемы, шла рядом с ним — сухая, прямая, с лицом, вырезанным из темного дерева. Она ничего не говорила. Но губы ее шевелились — не молитва, не проклятие, что-то третье. Что-то древнее.

У лодки стояли старейшины. Те же трое. Старший кивнул — и Черему положили на доски, как кладут покойника. Лодка была старая, рыбацкая, пропахшая чешуей и тиной. Кто-то сунул под голову свернутую дерюгу — не из жалости, а чтобы не захлебнулась раньше времени. Гребец — молодой парень, сын одного из старейшин, — взялся за весла и не оборачивался. Он греб быстро, рывками, и каждый рывок отдавался в досках, в теле, в голове. Черема смотрела в небо. Небо было серое, низкое, осеннее. Птиц не было. Только вода плескалась о борта.

Остров был близко. Река в том месте узкая — хороший гребец за четверть утренней зари переплывает. Черема не считала. Она смотрела в небо и чувствовала, как сердце ребенка бьется о ее живот — уже реже, уже тише, уже как будто через силу. Оно умирало. Он умирал. Тот, кого она не успела назвать.

Лодка ткнулась в берег. Черему подняли — теперь уже грубее, быстрее, никто не церемонился. Сзади подходили люди — те, кто переплыл на второй лодке, и те, кто остался на том берегу, но смотрел, вытягивая шеи. Свидетели. Так было надо. Так велел закон — не писаный, не резаный на дереве, а старый, родовой, тот, что передается из уст в уста: если женщина родила морока, оба должны уйти в огонь. И люди должны видеть. Чтобы помнили. Чтобы боялись. Чтобы знали: земля не прощает.

Баню она увидела, только когда ее поставили на ноги у самого порога.

Черная Баня была не такой, какой она ее помнила. Раньше, до замужества, Черема приезжала сюда с другими женщинами — мыться, париться, шептаться о своем. Тогда баня была просто баней: низкая, приземистая, с маленьким волоковым окном, из которого валил дым. Теперь она смотрела на нее иначе. Дым не шел — дым стоял. Он висел над крышей, как забытая душа, как пелена, которую кто-то накинул и не снял. Стены были черные, да, но не просто черные — они блестели. Сажа лежала на бревнах слоями, год за годом, и каждый слой был чьей-то жизнью: чьи-то роды, чья-то смерть, чье-то наказание. Дверь была низкая — ниже человеческого роста. Чтобы войти, нужно было наклониться. Поклониться.

Черема не поклонилась. Ее втолкнули.

Внутри было темно и жарко.

Не просто жарко — натоплено. Кто-то был здесь до нее. Кто-то переплыл реку затемно, когда еще не рассвело, когда старейшины только шли к ее дому, когда муж еще стоял в дверях и смотрел на темное сердце. Кто-то развел огонь, раскалил камни, плеснул на них воду и ушел. Запер дверь снаружи и стал ждать, когда привезут ее. Когда привезут их обоих.

Черема поняла это не сразу. Она поняла это по камням. Они лежали в углу — серые, потрескавшиеся, с белесыми прожилками, как старая кость, — и от них все еще шел жар. Не вчерашний, не случайный. Ровный, глубокий, хозяйский. Такой жар бывает, только когда баню топят с вечера и подбрасывают дрова до самого рассвета. Она знала это. Она сама топила баню десятки раз — для себя, для свекрови, для мужа. Она знала, как пахнут камни, когда их только накалили, и как они пахнут, когда остывают. Эти — еще не начали остывать.

И тогда она поняла: все было решено еще до того, как она разродилась. Может быть, еще до того, как она понесла. Может быть, еще до свадьбы. Потому что так бывает: есть женщины, которым суждено родить морока, и есть бани, которые топят для них заранее. И никто не спрашивает, хочет ли женщина в баню. Хочет — не хочет, стерпится — сблюбится.

Пар еще стоял в воздухе — густой, влажный, тяжелый. Кто-то плеснул на камни воду перед тем, как запереть дверь: пар взвился к потолку, зашипел, обжег лицо. Теперь он оседал на стенах, на полках, на земляном полу. Пол был утоптанный, глинистый, холодный внизу и горячий сверху — как будто тепло не опускалось, а стояло на уровне груди. Как будто оно ждало. Как будто оно знало, кого греет.

Вдоль стен тянулись полки — грубые, неструганые доски, на которых рожали и умирали десятки женщин до нее. Она провела по ним рукой. Дерево было скользким — не от сажи, не от воды. От времени. От тел. От того, что впиталось в него за годы и годы.

Воздух пах не дымом. Дым был — он стоял под потолком, сизый, слоистый, — но пахло не им. Пахло чем-то сладким. Прелью. Потом. Старым страхом, который въелся в стены так глубоко, что его нельзя было выскоблить ножом. А под сладким — что-то еще. Что-то, чего она не могла назвать. Что-то, что напоминало запах земли после дождя. Но дождя не было. И земли тоже.

Дверь закрылась. Засов упал с той стороны — глухо, тяжело, намертво.

Черема осталась одна. Она села на пол, привалилась спиной к черной стене и прижала ребенка к лицу. Кожа его уже не была теплой. Сердце уже не билось. Она не знала, когда оно остановилось — в лодке, на берегу, на пороге. Она не заметила. Она держала его и дышала в прозрачную кожу, как будто ее дыхание могло заменить ему жизнь.

Снаружи молчали. Кто-то стоял у двери — она слышала дыхание, шаги, хруст веток. Потом шаги стали удаляться. Кто-то плыл обратно. Кто-то остался на том берегу смотреть. Муж? Она не знала. Она уже не думала о нем. Она вообще ни о чем не думала. Она сидела в темноте, в жаре, в тишине — и молчала.

А потом ее рот открылся сам.

И из него вышел крик.

Кто-то говорил потом — она кричала три дня. Кто-то — семь. Кто-то — что не замолкала до самого конца, пока камни не раскалились добела, пока стены не начали дымиться, пока дерево не занялось. Кто-то — что кричала не она, а ребенок. Тот, у которого не было имени. Тот, у которого не было легких, чтобы дышать, но был голос, чтобы звать.

Никто не стоял на берегу и не считал. Но каждый, кто был в тот день у реки, слышал.

Крик шел не из бани. Он шел из-под земли. Он поднимался через глиняный пол, через камни, через воду, которая вдруг стала горячей. Рыбаки, проплывавшие мимо острова на третий день, говорили потом — уже шепотом, уже оглядываясь, — что вода в реке дрожала. Не от ветра. Не от течения. От чего-то другого. Что-то большое и темное ворочалось на дне, и пузыри выходили из-под берега — один за другим, как будто кто-то дышал. Как будто кто-то ждал.

На четвертую ночь баня загорелась.

Это видели с того берега. Столб дыма — черного, жирного, сладкого — поднялся над островом и стоял до вечера. Когда дым рассеялся, на месте бани остался только черный круг. Камни, потрескавшиеся от жара. И — след.

Детский след.

Маленькая босая ступня, отпечатавшаяся в пепле. Одна. Потом еще одна. Цепочка следов уходила в лес — не к реке, не к людям, а в самую чащу. И там, в чаще, обрывалась. Не у дерева. Не у воды. Просто в земле. Как будто ребенок шел, шел, а потом ушел вниз. В тепло. В темноту. В то, что ждало его с самого начала.

И земля с того дня стала теплой.

Сначала — только на пепелище. Потом — вокруг. Потом — весь остров. Даже зимой, даже в самые лютые морозы, когда река наконец застывала, земля на острове оставалась мягкой. Снег таял. Трава, которая пыталась расти, была желтой и чахлой, но она росла. Птицы перестали вить гнезда на деревьях — не потому, что не могли, а потому, что не хотели. Что-то им мешало. Что-то висело в воздухе, неслышимое, невидимое, но ощутимое — как взгляд, как дыхание, как память.

А по ночам — говорили — слышен плач.

Не крик, не вой, не стон. Тихий детский плач, доносящийся из-под земли. И если пойти на него — если встать в темноте и сделать шаг за порог, — то ноги сами вынесут не к пепелищу, а к болоту. К тому краю острова, где вода черная, как сажа, и пахнет прелью, и никогда не замерзает. И там, под водой, что-то лежит. Что-то маленькое. С двумя головами. С тремя глазами. С сердцем, которое все еще бьется.

И ждет.

Говорят, Черема не умерла.

Говорят, она вышла из огня — не женщиной, не духом, а чем-то третьим. Говорят, она стала первой Шептуньей. Первой, кто услышал голос теплой земли. Первой, кто понял: здесь, на этом острове, женщина может спрятаться от мира, который хочет ее убить.

Говорят, она живет там до сих пор. В земле. В тепле. В тишине. И слушает.

Говорят разное.

Но когда рыбаки привозят на остров новую женщину — избитую, изнасилованную, пустую, — они не знают, что с ней будет. Они просто оставляют ее на берегу и уплывают, не оборачиваясь. Потому что, если обернуться, можно увидеть: земля под ее босыми ногами дышит. И кто-то под землей открывает глаза.

Кто-то, у кого два лица.

Кто-то, кто так и не получил имени.

Мертва та колыбель, что не знала детей.

Но еще мертвее та, что знала — и забыла.

ГЛАВА 1: СМОТРИНЫ.

Ладана проснулась от холода. Холод был не снаружи — снаружи как раз топили, и печь уже дышала в спину, — а внутри, в животе, в груди, в костях. Такой холод бывает, когда проснешься раньше, чем надо, и еще не понимаешь почему, но уже знаешь: что-то случится. Что-то, чего не миновать.

Она лежала на полатях, прижавшись спиной к теплой стене, и слушала, как мать возится у печи. Дым еще не выветрился до конца, в избе стоял серый полумрак, пахло кислым хлебом и мокрым деревом. Где-то в углу, на соломе, спала Цветана, младшая, и во сне сосала большой палец. Ладана слышала ее дыхание — тонкое, ровное, как у птенца.

Она не знала, что сегодня за день.

Она села, свесила ноги с полатей, коснулась босыми ступнями холодного пола. Доски были шершавыми, в трещинах. В углу, у самой печи, стоял глиняный рукомой — кувшин с узким горлышком, вделанный в деревянную подставку. Рядом висело льняное полотенце, вышитое по краям красными нитками — материна работа, узор из ромбов и утиных лапок. Ладана провела пальцами по вышивке, ощутила шероховатость стежков. Мать вышивала этот рушник, когда ждала ее, первенца. Говорила, что ромбы — это поле, а утиные лапки — это следы, которые оставляет счастье. Ладана не знала, нашло ли ее счастье когда-нибудь. Может, просто прошло мимо, не оставив следов.

Она перевела взгляд на полку под потолком. Там стояли горшки — глиняные, обожженные, с выщербленными краями. Самый старый, с трещиной, заплатанной берестой, хранил соль. Мать говорила, что эту соль привезли с далекого торга, и она горькая, не как наша, речная. Ладана помнила вкус той соли: она и вправду была горькой, но мать клала ее в кашу, когда хотела сделать что-то особенное.

На стене, между окон, висели связки трав. Ладана знала каждую: полынь от дурного глаза, зверобой от лихорадки, мята для покойного сна. Мать собирала их в конце лета, сушила в тени, прятала от солнца. Руки у матери пахли этими травами — горько и сладко одновременно. Ладана любила этот запах. Она прижималась к материнским рукам, когда болела, и запах трав обещал, что все пройдет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.